

(Продолжение. Начало в № 4/2017 «Нового Енисейского литератора»)

2.

Он стал припоминать, когда эта «муха» была у него в последний раз, но не припомнил и, удивляясь странности случившегося, принялся разбираться в рукописи. Рассказ действительно был завершён, доведён до совершенного восприятия. Логика повествования нигде не утрачивала своей притягательности, слова ложились друг за другом без толкотни и излишеств и при прочтении словно катались на языке легко и приятно. Это была, без сомнения, его история, его задумка и его почерк, но писал её кто-то другой, умелый и ловкий, поразительно талантливый и не сомневающийся в знании своего таланта.

Думалось: «Что я буду делать с этим? Это разве покажешь кому-нибудь? Да и не поверит никто, что так здорово можно написать...»

Но тут же одолевали другие мысли: «А почему бы и не показать? Написано-то здорово! Даже если это и не я, пусть люди читают...»

Удивительно то, что совсем не беспокоил вопрос: кто же это, в конце концов, всё-таки написал?

«Чертовщина какая-то! Отправлю это в редакцию и всю эту писанину заброшу. Иначе недолго и свихнуться...»

Внутренне он понимал, что происходящее с ним, конечно же, от одиночества. Эти чудеса и провалы в памяти могли быть и от ночных смен, после которых он редко отдыхал. Могло случиться, что в полусне он всё-таки дописал историю, потом заснул, потому и не помнил. Этим вот и убедил себя, запечатывая рассказ для отправки почтой. Но когда было собрался в отделение связи, чувство необъяснимого стеснения вдруг овладело им. Мысль о какой-то несправедливости или неправомерности сначала слабо шевельнулась в голове, но уже через минуту разрослась, заполонила мозг и заставила отказаться от идеи отсылать рукопись в редакцию.

«Как тебе не стыдно? Ты не мог этого написать, это чужое письмо. Это лежало в чужом конверте. Конверт! Вот где разгадка! В этом странном чужом конверте...»

«...Уж месяц (или более?) как говорил с тобой по телефону, а словно вчера обещал сообразить пьесу и отправить на твой суд и расправу. Но дело-то оказалось „запросто не просто“ и затянулось изрядно, и мало того: думаю, затянется ещё, поскольку опыт сей у меня первый, и нагородил я в нём порядком...»

Пьесу сообразил некоторым компилятивным (говоря твоим языком) образом из своих же собственных опытов. Понимая всю рискованность подобного предприятия, тем не менее осмеливаюсь предложить его твоему вниманию. Полагаю, что над этим стоит поработать...

Я ожидаю от тебя всё что угодно, вплоть до абсолютного отрицания всей вещи, но какое-то зерно, какой-то зародыш должен остаться. Я знаю, ты умеешь его выделить. Может быть, необходима некоторая трагедийность в сюжете, может быть стоит усилить детективную ноту или, наоборот уйти от излишней замороченности к простоте и науку отношений героев между собой. В некоторых местах, вероятно, не хватает динамики, экспрессии, и в „сидячие“ сцены стоило бы ввести движение. Моя личная позиция в этой многовариантности выбора состоит в том, чтобы

уйти каким-то образом от сегодняшнего состояния „натур-трагедийности“ (да простится мне вольность в таком словосложении) в литературе. Я скучаю по простому обывателю (которому, впрочем, совсем не чужды и необывательские, так сказать, возвышенные... проблемы), скучаю по негерою, по заурядной личности, по наивному доброму человеку, просто живущему (любящему, рожающему, воспитывающему... и т.д.), просто работающему, в простом мире понятных общечеловеческих отношений, а не среди нескончаемой чреды душевыматывающих патологий. Я не знаю, что это такое во мне, но только не уход от реальности, как это можно было бы предполагать в подобном случае. Зато я точно знаю, что **реальность** совсем не такова, как её преподносит сегодняшний литератор, востребованный на массу. Она намного **ужаснее** его представлений, **она всегда была таковой**, но ужас или зло это всегда нейтрализовано всегда должным и всегда достаточным процентом блага или добра. Намеренно уменьшенный процент этого блага в литературе даёт нам вот тот эффект бесконечного гипертрофированного вселенского зла. Я понимаю, что, наоборот, при уменьшении зла возможен эффект некоего идиотизма. Как найти точное соотношение здесь, я не знаю. Это, я думаю, вечный секрет в любом искусстве. Найти его — значит схватить верную удачу, как говорится, за хвост...

Название опыта моего — „Так и живём...“ — конечно же, условно. Тут нужно дорабатывать, поскольку понимаю, что в самом названии можно и... нужно подчеркнуть фабулу, а заодно и заострить, если это возможно, сегодняшнюю какую-то одну из центральных общественных забот, а может быть, есть вариант как-то оригинально объединить названием вообще эти многочисленные... заботы. Не знаю... Можно было бы назвать избито и тривиально... из серии „Дорогие (милые) мои старики...“ или просто „Старики“, но пока остановился на условном варианте.

С текстом, в смысле формы (описание персонажей, авторские вставки, разделение по актам, музыкальное сопровождение и т.п.), я работал ровно столько, насколько простирается моё гилетантство в сей области. Как это делается профессионально, я не представляю, но думаю,

что это каким-то образом скажется даже с положительной стороны, давая некоторый простор постановщику...

Песня, что должна звучать в начале третьего акта, почему-то ложится у меня в подсознании лейтмотивом ко всей постановке. Вероятно, я предполагаю слышать музыку этой песни какой-то определённой вырванной грустной балалаечной (фольклорной?..) нотой (или полублатным мотивом?..) за сценой над действием, но тихо и отдалённо. Музыка ещё нет, но я слышу её **свою** и привязываю к событиям спектакля на каком-то интуитивном уровне. Что это, я не знаю...

Мне хотелось как-то увидеть по-доброму то, что называется преемственностью поколений, а потом ещё, опять же по-доброму, проанализировать свершающийся с развалом прежней идеологии социальный слом. Насколько это у меня получилось, судить тебе. Хотя, признаюсь честно, таким особо умным и значительным „ребусом“ я озадачивался в наименьшей степени. Более мне интересен просто человек, персонаж сам по себе, как говорится, „в собственном соку“, с его говором, мимикой, жестами и т.п.

Я оставляю своих „героев“, как бы лишая поддержки из прошлого, один на один с новым временем, чуть, может быть, наделив их перед этим всё-таки некоторым благом прошедшей эпохи... „окончательно победившего социализма“. Научились ли они чему-либо и будет ли это „что-либо“ нужно им в новом времени, я не знаю... Но вера в преемственность добра между поколениями в момент сложного социального разрыва не покидает меня...

И ещё одна задача стояла передо мной (только не знаю, правильно ли я её себе представлял...) — это минимум мизансцен и возможность либо исключать, либо дополнять сценическую обстановку, за исключением, может быть, некоторых, как мне кажется, деталей (например — детская кроватка в четвёртом акте, без которой, мне думается, сложно передать своеобразный психологический настрой). Но, повторяюсь, и здесь я поступаю интуитивно, не более того, и полагаюсь на воображение того, кто отважится читать мой „реализм“. Насчёт последнего — тут я понимаю наив и простоту такого приёма, особенно в сравнении с сегодняшними изощрениями в творчестве, когда из самой малой проблемки „надувают“ с

помощью множества методов глобальное произведение, начинённое „...и зрелищностью, и умственностью, и вообще бесконечностью достоинств...“. И ещё я, конечно, понимаю, что искусство действительно отклонилось значительно с нравоучительных позиций (?) в сторону развлекательности и стало в большей мере шоу... Но я старомоден и потому продолжаю говорить прежним проверенным способом (и потому, наверное, могу наговорить сгоряча всякой чепухи...).

Сообразить всё это оказалось для меня сверхзадачей, во-первых, потому что никогда не занимался таким делом, а во-вторых, вероятно, „скупее стал в желаньях“... Хотя, признаюсь, был всегда почему-то уверен, что нечто подобное мне всё-таки придётся сделать обязательно. Когда начинал работать над сим опытом, ни в малейшей степени не чувствовал ни робости, ни неумения (что, признаться, бывает со мной очень редко...). Просто знал, что делать, и делал. Но когда уже в черновике был готов финал, тут невыносимые хангра и уныние пришли добавкой к моей хронической лени, и я с великим трудом одолевал последний акт (и всё совершенно было не так, и всё плохо, и вообще не надо было браться... и т.д.). И чтобы совсем не впасть в депрессию, наскоро отправляю пьесу тебе без какой-либо редакции или коррекции. Казни теперь не казни, но „мавр своё дело сделал“...»

И все мысли теперь разом завертелись вокруг злополучного конверта. Он долго вертел его в руках, опять и опять изучая на нём собственный адрес и собственный почерк. Когда это он отправлял сам себе письма? Чепуха какая-то. Хотя — такое было однажды! Давным-давно, в детском доме, он действительно писал... себе самому одно-единственное письмо. Вспомнил, как тихо радовался по приходе его с общей почтой. Теперь-то он понимал, что поступил так от одиночества, от желания быть кому-то нужным, хотя бы самому себе. Мальчишкой было проще обмануться: бросил своё же письмо в почтовый ящик на кирпичной стене железнодорожного вокзальчика, а через пару дней читай, шевеля губами, уединившись за пыльным «тёплым ящиком» на чердаке детского дома, где в конце тёмного коридора в потолке был небольшой лаз, к которому вела железная лестница,

называемая «пожарной». Надо полагать, она действительно могла быть полезной во время пожара, но почему-то думается, именно эта лестница и была главной возможностью всяческих происшествий, вроде пожаров. Поскольку именно по этой лестнице перед отбоем вечером пацаны лазили курить. На чердаке у водяного расширителя, специально обитого досками и утеплённого лохмотьями минеральной ваты, всегда было тепло и всегда можно было на ощупь в сумерках в щелях меж досками найти приличный окурочок. «Привет, кишка!» — он припомнил, что именно так начиналось то письмо самому себе. Это не было прозвищем, но так иногда его окликали сверстники, конечно же, за синюшность и худобу.

«О чём было то детское письмо? Сейчас и не вспомнишь...»

Наверное, о какой-нибудь пустяшной истории, которая взрослому покажется такой малостью, что он и не заметит ничего примечательного в ней. Зато в детстве эта малость, конечно же, тронула мальчишеское воображение так особенно и настойчиво, что сложилась, торопясь, в нескладное наивное письмецо.

В памяти как-то сама собой всплыла история побега из детского дома троих дружков, коих стоило бы назвать по-взрослому закадычными. Но поскольку, в общем-то, к выпивке, как говорят, к «закладыванию за кадык», то бишь за воротник, ребята тогда ещё не доросли, то, по определению директора, были просто «гоп-компания оторви и выброси».

«Теперь-то уж, наверное, доросли, если, конечно, живы и вместе собираются...» — думалось при воспоминании о дружках детства.

«Дело» с побегом случилось в ноябре, когда в тихие звёздные ночи уже прихватывает морозцем всё, что наполнено в это время водой. Крепким прозрачным ледком покрываются лужи, не успев просохнуть от последнего дождя, сковывает словно сталистой корой канавы вдоль дорожной насыпи, что легла бугром через топкое поле сразу за двором детского дома. А за полем малахитовой блистающей гладью как-то вдруг за одну ночь застывало большое озеро. Это было чудом: в одну из зябких утренних зорь взору представало громадное сине-зелёное блюдо, по краю окаймлённое

ещё кое-где жёлтым тускнеющим лесом. А ночью как-то дивно соединяются в эту пору тьма небес и недвижимое, непроницаемое, дышащее холодом озёрное пространство. В звёздное небо можно глядеть, не отрываясь, часами. Оно, как непостижимая фиолетовая тайна, обволакивает собою окрест всё и смешивает из отдельных явлений поля, дороги, недвижимых кустов, зданий посёлка единое, великое, нераздельное состояние. Лишь похрустывают в вышине звёзды, беспорядочно, словно искры голубого щебня, рассыпавшись на чёрном бархате бесконечного пути. А освещён тот путь каким-то мягким внутренним светом, то ли тем, что исходит от звёзд больших и ярких, словно горящих чудной удивительной краской, то ли от лёгкой желтизны звёзд дальних и малых, упрятанных в глубине мириадами точек и чёрточек. А может быть, это от большой полнѣхонькой луны, поутру уходящей к заходу, чистой и почти белой, словно искупавшейся где-то в ртутной сказочной реке. Очарование усиливается тем, что это же небо помигивает и безмолвствует, отражаясь в озере. Эти чары живут в памяти потом всю жизнь, и к ним нельзя привыкнуть до того, чтобы они превратились в обыденность. Те звёзды из детских лет — бесконечный восторг, неиссякаемый праздник. Это таинственное чувство обязательной сопричастности твоей к предкам, это волнующее всепобеждающее устремление твоего обязательного участия... в потомках. Пред таким небом чувствуешь свою достойную истинную малость в бездонье Мира и вместе с тем постигаешь единение своё с его непостижимым величием. Может быть, вот это самое единение и зовёт людские души в путь, в неведомое, к великим открытиям? Может быть, и не от скудной детдомовской жизни убегают хулиганистые пацаны? Позовёт этак звёздное небушко, поманит тайной неискушѣнное мальчишеское сердце и уведёт в вокзальную суету, в гомон людской, в водоворот всеобщий и захватывающий каким-то непонятным восторгом.

...Помнится, сбежало тогда трое мальчишек, а дня через четыре на одной из железнодорожных станций под Хабаровском выловили только двоих. В детдоме переполох. Директор детдома Юрий Николаевич, мужик интеллигентный, но строгий, как грозная туча навис над пацанами: «Где третий?!»

А те и не знают. Якобы ещё в начале побега, ещё здесь, на станции, расстались. С неделю потом ещё искали третье-го. А искать и не нужно было: тот всё это время за «тёплым ящиком» на чердаке провалялся и, в общем-то, был почти в курсе всех детдомовских дел. Когда кто-то из пацанов залазил сюда пошарить по щелям в поисках окурка, беглец прятался, подглядывая и подслушивая сверстников. Марку выдерживал, шельмец. А попался однажды ночью, когда спускался по пожарной лестнице, чтобы пробраться в столовую, где припасался чайником немудрёного кофе со сгущённым молоком или компотом, хлебом, и если фартило, то куском мяса или рыбы, что, случалось, оставались после ужина. Дежурная нянька из спальни для младших через открытую дверь заметила, как мелькнули чьи-то грязные голые пятки на лестнице. Осторожно проследила и накрыла беглеца прямо на кухне, а тот и не сопротивлялся здорово — видно, самому такой «побег» к тому времени уже надоед. Утром директор при всех на построении закатил ему хорошую оплеуху и отправил мыть полы в туалетах. Такое наказание обычно заканчивалось для провинившегося тёплым душем и чистым бельём и потому больше радовало, чем огорчало. Директор это знал и, наверное, сам был рад тому, что искать больше никого не нужно...

Улыбка сама собой случилась на губах, лишь только вспомнилось прозвище того беглеца — Поп! — то ли от фамилии, то ли от лохматой нестриженной головы, вершившей долговязую фигуру в балахонистой, не по росту, одежде.

И ещё припомнилось, как в девятом классе директор вёл уроки истории и как однажды распекал Костю Гвоздикова за бритый затылок. Было совершенно непонятно, почему злится директор. У Гвоздя была чистая, по-мальчишески беззащитная розовая шея, аккуратно подбритая полукругом — тогда в моде была стрижка «под канадку». Но директор был суров и непреклонен, выговаривая: «Ты знаешь, Гвоздѐв, — Костю он называл именно так, делая ударение на это им изобретѐнное нелепое „ѐ“, — что затылки брили ямщики да кучера, чтоб угодить видом своего зада хозяевам? Ты же советский комсомолец, а в стране давным-давно нет хозяев и ямщиков с кучерами...»

Продолжение следует